
Алексей ШЕПЕЛЁВ

ШТЁПА И ЖЁВАНЫЙ КРОТ: THE BATTLE

Повесть

1. Крот

Никто теперь толком не знает, с чего пошло это прозвище — Жёваный Крот. Говорили, что перешло оно ему по наследству, что и батю точно всю жизнь звали Кротом, кто-то утверждал, что вроде как именовался тот уже и Жёваным; другие не особо уверенно рассказывали, что сам он в детстве боронил огород снятой со свекловичного культиватора одной «танкеткой» и ненароком закатал этими шипастыми звездочками бедного кротика. Ну и, конечно, нельзя было не отметить просто внешнего сходства: что и сам он, Валерка, с детства был щупленький, как будто подслеповатый.

Кажется, никому, даже и мне, не приходили в голову филологические штудии, что сочный, энергичный оборот прозвища — не что иное, как заменитель чего-то куда более матерного. Или само собой это разумелось, но как бы неосознанно, не знаю. Прозвища в селе — как прозвища индейцев: подмечают свойства, передаются по наследству. Только у них серьезные, романтические, а у нас все с подколками, кругом сатира.

В историях всех этих деревенских, в сельском народном сознании, если взглядеться, наверно, и на нашей памяти, как почти и встарь, не готовые шаблоны царствуют, а чудится чуть ли не в любом рассказе нечто легендарное, почти эпическое, и мифы эти по-прежнему *живут* — о них-то мы речь и поведем.

Герои, их истории и легенды — то, что я и сам видел, ведь в деревне с пеленок все всех знают как облупленных, как плетень, все сплетено, ничья история не пройдет мимо, а про тех, кто гораздо старше, всю подноготную до третьего колена мне по детскому краеведческо-психологическому следопытству пересказывала бабушка. А тут по возрасту он меня, выходит, старше лет на пятнадцать, и не только не ел я с ним, как с одноклассниками, валики из сигаретных пачек, засохшую зубную пасту «Мятную» с навоза-помойки или четырехлепестковые цветочки сирени, но даже никогда, как с теми, кто старше-младше лет на десять, не играл с ним в ножички, лапту и вышивалы. Хотя и я еще помню, как играли по весне, только снег сойдет, и стар и млад: забредет вдруг какой-нибудь дядя и, отодрав штатетину, как залудит ей единственный на всю деревню мячик — за тридевять земель...

Алексей Шепелёв родился в 1978 году — прозаик, поэт, автор нескольких книг стихов и крупной прозы. Кандидат филологических наук, член Союза писателей Москвы. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Наш современник», «Новый мир», «Юность», «Урал», «Волга», «Нева», «Сибирские огни», «День и ночь». Лауреат премии «Нонконформизм» (2013), лауреат журнала «Север» (2009), международной Отметины им. Д. Бурлюка (2003). С 2016 года живет в Анапе.

Но вот нынешний Валерий Палыч, солидный вдруг и всеми уважаемый, был всегда маленький, неказистый, подвигов никаких, а зауважали его резко лишь после прихода «с армии».

Бабушка рассказывала, что и отец его был такой же «сохленький», как будто подслеповатый — «пародия (порода то есть) у них такая». Сухорукостью тоже они всегда отличались, что у Пашки ручки были крохотные, как у мальчика, а жилистые неизменно, что и у Валерки теперь заметно. Но самое интересное, что поговорка у Крота-бятни была не «жёваный», а намного неприличнее. Тоже «ё» там в начале и в конце целых два явных «н» — бывают же слова-паразиты! И комично, что в любом обществе, пусть самом начальственным и дамском, проскакивало у него, с самым серьезным видом, как что-то проходное и незначительное, крайне непотребное это словцо. Люди приезжие, непривычные, посмеивалась бабушка, таким эффектом сбивались наповал. А иногда, как бы очнувшись, произносил он отчетливо, от души, будто некий афоризм — то тут и добавлялся им еще завсегда именно крот!.. Или был, еще к примеру, в нашем «заводе» (при кузне, когда в мифические времена была она в колхозе при мастерской сельхозтехники) один Барон, однорукий, как его называли, мастер. Так присловье у него бытовало не просто какое-то обычное «значит», а солидное деревенское «здесь все значить» — как кованый болт клещами в воде остудить да сразу маслом смазать. В детстве я сам его видел, часами сидел в кузне. И пересыпал он, я вам скажу, свои речения, стуча по чему-нибудь или тыкая в воздухе горизонтальным знаком козы двух культипок, как штангенциркулем — смеялись мужики — или держателем электрода, манипулятором робота, нещадно. По пьяни так и забывалось у него все остальное, и совсем он заходиллся сплошной трелью самовитого своего «здесь все значить». Но этого для легенды мало: проживал на свете еще и брат его родной — Барин, от него разносилось кругом «всё там значить» — тоже, уже понятно, наследственное. Тот на узике ездил в район и город, доставая для мастерской запчасти. Прозвища иронические, но каждый из них хозяином-барином слыл в своей области. Конкуренция меж них возникла, такая невольно сродственная, как физике «парадокс близнецов»: что одному сто верст отмахать, то другому за час молотком выбить — кто быстрее. Блохи, конечно, с культянками не сдюжить, но ведь никак не робот, не простой алкаш — шаман-Барон! С чудинкой — а кто здесь без нее? — но человек добротный, общественно полезный и сам как будто с выкованным, закаленным стержнем — не токмо ведь гвозди и болты, а даже втулки всякие, как по волшебству, выделявал! А Барин-брат — все одно на побегушках, ветрогон, в районе, почти в городе захотелось барствовать, хотя по сравнению с нынешними...

Но это лишь все присказка, простите, рассказ у нас о битве титанов, а не об этой древности.

Для сельского человека главное — свобода. Своеволие даже — родное, природное. Иногда переходящее в заприродное какое-то упрямство. Городскому что — четыре стены своих однокомнатных, ну пусть даже восемь, а чуть вышел в коридор, за подъезд, на лавочку — и любой на нее сесть может, называл ты ее «своя» или нет, на ней не написано. На работе под всех подстройся — под начальство, под окружение, формализм кругом да формальность — когда еще Нового года дождешься!.. С знакомым мельком во дворе, с соседом в подъезде — и тут ему выскажи, что слышать сам он хочет! Наслушался до одурения зомбоящика, заучил готовое и — «убеждения имеет». «За» Украину он иль «против», «за» вакцинацию на всех парах али из этих «анти» — раз-другой не то лишь ляпни, и все, от ворот поворот, тебе и «здрасьте» больше не скажут!..

То ли дело, приглядеться если и вникнуть, в деревне. Изба невелика и неказиста — да своя, там сени дальше, крылечки, терраски да пристройки... В оградку вышел —

цветочки, грядки, птички-бабочки, свежий воздух!.. А дальше — тропинка в сад, спуск под бугор к реке (теперь — болоту) и сбоку огород. Сосед тебе и друг и брат, с ним открываешь рот «события обсудить», — но не идет по писаному, проблемы мировые в два счета забивает вещание местное, из подлинного эпицентра мира — вот это кто проехал на машине мимо, проковылял в ларек прохожий — тут же и он, окликнутый, примкнул к коллоквиуму... А сзади дома еще двор, сараи, клетки, залежи всякой дребедени, металлолом, стог сена, заросли полыни-лебедеи, и сзади через дорогу — огород с картошкой. Протоптаные тропки иль грязища, дорожки или мурава, скотина, утки-куры и всяческая живность под ногами: Полкан, чужая Жучка, три котяры... Всех накорми да напои, в единую какую-то линию выстрой! Как ни кружись, ни наре-зай круги (не линия вокруг — а круг!), так все равно кругом все зелень, да ветерок, да запах непередаваемый земли и зелени, пусть иногда с соляровкой и навозцем... Тесновато, конечно, тоже, и телереальность-толерантность энта жестко окружает: жена, сосед же тоже, остатки сельсовета, школы и почта два дня в неделю... Но вообще прогресс-то есть, хоть и какой-то анархистский: как колхоз распался — коллективизма ноль, по сути, сам себе хозяин, сам и барон, и барин!.. Хочу стою, хочу иду, хочу — иду дрова колоть, хочу — полоть иду картошку на заре, а не изволю — по жаре, а не изволю — послезавтра вечером!

Пусть что такое зарплата, ты уже не помнишь, пусть ждешь копейки пенсии, но над тобою все равно не чистая — нечистая! — сия власть чистогана, а власть... чертополоха, *власть земли*. Ежу понятно: вот просидишь ты пять минут в безделье, и тут же, знаешь, зарастет все кругом чертополохом — и вот уже не выйти по тропинке в сад, ни «на горб», и никуда вообще.

Кто виноват: Америка, Чубайс иль Путин — на это в городе можно полчаса поддакивать или кое-как все-же-не-соглашаться, вид блюдя... А тут — часами будут теревить взалхлеб свое, да не с чужими, чуждыми, закудыкинскими фамилиями, а с родными, будто самой природой данными прозвищами, с географическими названиями не дальше Береовки! И за три часа таких громогласных, не как в городе по углам, перетираний, обильно сдобренных гвоздодерным матом — как будто подростки соревнуются, а не мужики сорокалетние или дедофоны уже седые! — и отголосками былых наследственных и собственных присловий, не услышишь ни слова абстрактной лексики!

Это в городе все всё заучивают всепослушно, а тут — не на того напали! Там вчитаются пристально в Интернет, в журнал, в рецепты, посмотрят передачку, всему, как кенарь в клетке, верят, а деревенский вольный житель — фигушки. Поклеить, допустим, обои, покрасить оградку новой краской, покрыть железом крышу — куда же еще проще?.. Пойдет мужик к соседу (или по жены внушеньям к соседу домов за десять), посмотрит, как он покрыл себе недавно металлопрофилем новомодным, расспросит что и как — как, например, там резать материал экономично и утеплитель класть под кровлю. Но придя домой, вдруг скажет: «Не может такого быть!» Жена поспорит, «как купит, так увидит», ладно. Купил все, делает, со всех сторон советуют и даже помогают, а Архимед наш сельский, уже прилаживая, за свое: «Не может того быть!» — и прилепляет утеплитель наизнанку. Жена заходитя, бегае, показывает распечатки, а он: «Не может!» — и всяческим «профнастилом» ее, дуру, с помощниками-дураками и изобретателями-идиотами кроет. И только через год-другой до него дойдет и разуму его откроется: «Эх, крыть-то надо было ведь не так!..», залезет вольнолюбец наш весной на кровлю и опять за свой конек: «Не может того быть!..» — и все тут.

И вот таковы примерно — а верней, чрезмерно даже — были и есть герои наши современные — теперешние титаны-фермеры, на коих колокольнях все село стоять уж как бы стало...

О первом, Валерии Лямкине, я помню только отголоски: Валерка Жёваный Крот (то два тебе «н», а то и почти ни одного!) в армию пошел, Валерка-то Крот — из армии пришел! Да не просто так пришел, как в детстве один у матери гол как сокол рос — мотоцикл «Яву» он оттудова пригнал — заработать успел, достать, купить — «как пить дать не всеми правдами». Это еще перестройка была, конец восьмидесятых. А дальше — те самые девянотые, и толком я не помню, что он делал, ловил-глушил какую-то рыбу самодельным динамитом, продавал, все эти яблоки свои в Тамбов возил. И вскоре, как говорится, «взял ноль-девятую», а после выкупил в колхозе, дышащем уже на ладан, трактор... И все это было для той поры (для «двадцатилетнего щуплого шпингалета» — так приговаривалось непременно) из ряда вон, на зависть буйную всей деревне и окрестностям, а пацанам нам — и тем более.

Женился сразу и сажал он, говорят, с женой сначала яблони, чтоб заработать. Кругом все потешались: мол, яблоков этих и так кругом завались, и стоят они везде копейки! Жрать нечего, полки пустые, все по талонам, а он те — яблоки! Надо сказать, что в насмешках этих был резон. Напомню, если кто не знает: чтоб тогда купить подростку «мальвины», псевдоджинсы пресловутые, да свитерок турецкий «Антарктика» от «Гималайя», или еще костюм спортивный «с лампасами», тоже сомнительно турецкий — «цыганский», да еще такую невидаль, как кроссовки белые — отечественно-кооперативные, все в клею и через два месяца разваливающиеся на детали, каким «Моментом» ни подклеивай, нужно было сдать трех свиней и двух быков здоровых, откармливая их всей семьей не меньше года, а то и почти двух. Покупка мотоцикла или «москвича» «с пятых рук» исчислялась десятками быков и свиней. Впрочем, в девянотые мода на «хорошую жизнь», пусть и ценой стоящей чуть не друг на друге, на морозе и по колено в навозе скотине, на неприкрыто разворованном из колхоза корме, так и закрепилась и пошла. Сейчас это и представить трудно, ведь по нынешним ценам — уже в «парсеках», а не в «парсуках»!¹ — все эти одноразовые шмотки, что каждый тинейджер теперь сам себе, играясь, покупает, не дожидаясь новогодней дискотеки или выпускного, — едва-едва составят и полпарсека, то есть прасука.

Принялись саженцы, три ряда, вымахали на черноземе у речки быстро. Стал он с суругой их обрезать, да ругань, повествуют легенды, тут такая шла, что полдеревни собралось на улице. Молодой еще был совсем Жёваный Крот, будущий Валерий Палыч, да сразу норóвистый. Супружница показывает ему книжку, пересказывает передачу, кротом слепым уже публично кроет, а он уперся: «Не буду я столько срезать! Срежу — что останется?!» Закончилось все тем, что ночью поопилила она со злости, как могла, им все макушки по самое не расти — как в городе тополя в пеньки или столбы нещадно превращают. А саженцы меж тем оказались какие-то там «голден», да плюс груши, и разрослись они из-за макушек тех опиленных шарами прямо, а уж плодов что — пропасть...

Скандал скандалом, дело обычное, да мужику деревенскому работы и заботы выше крыши, мужикам здесь никак не до «горóда» и уж тем паче не до сада. Но Валерка наш и здесь волынку не жевал — машина ведь была, договорился с перекупщиком, подкупил деньжат — и незаметно выкупил еще косилку и второй трактор, в общем, стал потихоньку фермерствовать.

2. Штёпа

Как только еще подъезжаешь по сбитой дороге к нашей Россянке, так сразу прямо в глаза бросаются из всей деревенской мелочи два огромных металлических ангара. Стоят они, блестят и высятся, поистине как пирамиды — невиданно здоровых два по-

¹ Прасук, парсук — от «поросенок» — диалектное именование свиньи, даже уже взрослой.

одадь, с двускатной крышей, и рядом с первым еще один округло-арочный, постарше и поменьше. Пирамида от дороги первая, с окошком даже под крышей, как будто дом жилой — вблизи понятно, что туда вмонтированы две вырванные старые оконные рамы — и впрямь дом великана, творение рук конкурента Жёваного Крота, а именно второго местного Фермера с Большущей Буквы по скромному прозвищу Штёпа или Штёпка. Ангар его чуть кособок и ржав уже прилично, но поставлен первым. Вернее, рядом с ним, как на фотокартинке из Гизы, ютится ведь еще арочный ангарчик родственника его Белохлебова — уж точно самого первого пионера-фермера, с самых девяностых, но перекупил он давно его по-родственному, за подобающую божественности фараонов цену.

Рассказывала бабушка, как в послевоенные годы, хоть и не то, что в войну, когда лебеду и коровьи лепешки за моё-моё ели, но тоже было не сытно (девяностые — фьюить! — смеялась она), прибегает мальчонка глазастьенький-соседский, тогда они только переехали. «Как звать-то тебя?» — спрашивает бабаня, еще молодая. «Штёпка». — «Как-как?» — «Штепан Шамшонович!» — шепелявит он с гордостью, глазки такие востренькие, голодные. Дала ему «кафу» — сливную из всего, с картошкой. А фамилия оказалась, как и у нас — вернее, «Шепелев», а не «Шепелёв». У нас-то говорили всегда чисто, а тут прозвание так и прилипло, и даже через полвека оно никуда не исчезло и никак не изменилось! Штёпка да Штёпа!

Через несколько лет он, однако, себя уже иначе выказал. Идет по улице учительница Марья Ивановна — так и звали! — жаловаться на сорванца Штёпку, не знает, как войти к ним в дом, вход почему-то был с задов. А шпана Самсонович, кидая из-за угла ей под ноги камнями: «Шука-шука, ходишь тут, шука!..» — со слюной за губой, с подхалимски былинной протяжностью.

Фермеры-то и сейчас есть — их несколько (например, мой брат), но по сравнению с «магнатами» В. П. Кротом и Штёпкой этим — мелочь. Их два всего великих, почти равновеликих до мифичности — висят в округлых рамках, как на кладбищенских карточках, два фото на доске почета в школе, а главное, при каждом мало-мальском случае их ставят всем в пример — и школьникам-басурманам, и даже взрослым. Валерий-свет Палыча, с его двумя джипами, с заботой даже о нуждах батраков — задешево продавал зерно, повыкупил им брошенные избы, — конечно, осыпают дифирамбами больше. Но и Самсоныч... — он ведь не яблоки там какие-то разводит или смушки — на века отгрохивает.

Ангары даже теперь есть у некоторых — насущная необходимость хранить зерно и семечки, чтоб сразу осенью не продать задешево, — но не такие... Куды им там до мавзолеев тех прижизненных! Сначала, как помаленьку включился в фермерство, ангарчик арочный перекупил Степан Самсонович Белохлебова — невиданная еще вещь (тот сам-то, удирая, не воспользовался) — и сразу в профиците оказался! Увидев это, Жёванный Крот волынку не жевал — решил построить себе такой же, да по возможности больше. Но возможности не шли дальше фундамента лет пять! И уж тогда — решил отгрохать он, чтоб соседу Штёпке неповадно было. А уж тот — открытого соперничества не стерпел...

Вот Белохлебов был на все изжоги, почти как Ломоносов: сначала фермер пришлый, потом вдруг бригадир колхоза и одновременно ларек открыл, а дальше, при развале самого последнего остатка «от былого величия», уже и председатель избранный, свое хозяйство с колхозным полностью смешав и вывезя, что можно, в городище. Да Санчо Панса у него служил в работниках — «Сáжечка», сухопарый родственничек... В общем, они, Валерка тощий и дородный Штёпка, как будто живая инкарнация всем знакомых олдскульных хозяйственников девяностых, только один из них словно бы отделился, отложился и из реднеков сам заделался наипервейшим фермером.

Магнатами они себя почувствовали на полупустых просторах, «магнатами» и «олигархами» их стали звать заглазно, а дальше и, смекнув, в глаза — гораздо лучше ведь, чем детско-идиотические клички «Жёванный» да «Штёпка».

Не сладко, конечно, нашим фазендейрам в современности: чтоб часть налогов законоскотить, пришла им даже в последние годы столь прихотливая затея, как заниматься благотворительностью. Не королевское семейство, все простецки: Валерка, с заботой о первенствующем имидже, косилкою окосит самолично всю обочину дороги от центра до больницы — километра полтора колдобин, два раза в год. Потом уж привязались: то угольку им привези, то для ремонта досочек дай, купи и выдели два помазка, газеты на подстилку и панамы, три банки краски! А Штёпка выгодничает даже здесь: подарил больнице-богадельне телевизор — из своих запасов самый старый, чтоб в аккурат восьмидесятилетним их молодость напомнить! Напомнил-поддержал продуктами также: два мешка огромных подарил источенной крупы, сахарищу «колотого» («золотого», ссохшегося от многолетней влаги) пятьдесят кг да «хороших макарон», с советским еще штампом, колхозную столовку своим запахом помнящих, куль преогромный!

Сам Штёпка у старых родителей был один, рассказывала бабани, и все ему с рук сходило. Отучился в школе, поехал от колхоза, поступил на «зоокехника», работал, дальше в агрономы переквалифицировался, окончив еще курсы, и сразу смолodu как-то стал ходить в начальниках. Солидный такой дядя, смеется бабушка, идет домой-то — шаг, шаг, шаг! — голова здоровая, глаза навывкате, зрочки сверкают черным, белки белеют, и здрасьте-то иной раз не скажет — начальство ведь! К сорока годам «пупок уже еле таскал — хоть на тачке перед собой вези». Это уж и я отлично помню: «Штёпа плывет!» — и как парбм он какой движется, даже гусей по лужам распугивая, всех этих злющих гусаков, которые нам, ребятам, не дают прохода, как раньше, бывало, и его, догнав, щипали и упавшего клевали и закатывали.

Бригадиром еще стал — почитай, самый главный из местных *апося* очередного прошлого председателя! — и разъезжал он уже на собственном уазике. «Мои владения, — говаривал он за выпивкой (это уважал, а говорить уж и тогда не дюже), — вся Россиянка, вся Ульяновка, вся Бердяновка — отсюда вот и дальше на десять километров в радиусе! Везде я царь и бог — где семечки посеять, где люцерну, где боронить когда, где скирдовать, что на фураж пойдет, а что на элеватор, когда силос раздать коровам, а когда солому вместо сена — всё я!» Начальство уже с тех лет стало отличаться всякими загуглами «по наитию»: прикатывают «на фирму» — барана, ярку, свинью или телка уже хорошего — на шашлыки. Вытаскивают любого, тут же режут. Ну, раза три-четыре в год, понятно, праздники или кто приехал... А тут уж началось, почитай, еженедельно: «на шашлыки» да «на шашлыки»! С агрономией в раздольные советские года и так было всё понятно: и так все прет, как на дрожжах, чернозем, раздолье! Ну, выпишут тебе удобрений, двадцать тонн, допустим, по распоряжку из райкома, даже иной раз сами приволокут. Сгрузить тогда придется как-нибудь при конторе, за сараями, место распространить, а как уедут — перегрузить быстрее на свою машину, самому поехать и указать шоферу место где-нибудь в середине поля или подальше в лоштинке речки — авось дождем размочит, всю землю намертво выест да рыба опять сдохнет — подумаешь там! А дальше и вовсе выяснилось, что коли нет ГСМ, можно и не сеять почти, а отошавших полускелетов на полуразвалившейся, продуваемой всеми ветрами ферме кормить столетними жмыхом и соломой. В общем, как когда-то создавали колхоз, раз так надо, так и развалили-растасили, раз кругом все трещит, все последние остатки совести и хозяйства.

«Это нонче над этими удобрениями каждый фермер так и трясется, — вещает он теперь уже по-другому, — где взять, откуда привезти да как бы подешевше... Обычная

селитра аммиачная — ихх, сколько я ее сгноил! — до сих пор круги в земле, иные и в моих еще прям наделах! — чичася сам ее задорого покупаю!»

Сегодняшнее его состояние — самое примечательное. Живет он и трудится один. Работает как вол, и в самый сезон, когда все фермеры нанимают задарма подмогу, он все равно в своем почти бескрайнем поле один воинствует! Проедет комбайн, вздымая пылищу, — это Штёпа. Продребезжит трактор — опять Штёпка. Сотрясется земля — Штёпка на К-700 огромном или сам на КамАЗе с гиперприцепом. Завоняет отравой, так что по жаре и пыли задохнуться можно, — «Штёпа опять свое опрыскивает». Целый день он создает вокруг полувимерших уже домов необычайную, титаническую активность: тут и сям мелькает, пешком и на транспорте — как будто везде одновременно — как будто он себя клонировал! Сам закопченный весь и чёрнищий от пыли, оборванный и всё довольно жирный, с грубыми своими чертами, небритый, со взглядом из-под бровей людоеда какого-то... День-деньской долбит он железкой по железке, варит сваркой, да так пронзает стуком, треском и эхом тишину деревенскую, что кажется, что январь с его морозами, чтоб его уgomонить, и не настанет.

Был бы он отшельником знатным, если б хозяйствовал на отшибе, на хуторе где-нибудь жительствова. А в центре ведь всё на виду — и каждое его деяние, и все само-мельчайшие делишки.

Любой мужик деревенский — сам себе конструктор. А фермер и тем более. Но есть еще, конечно, особо одаренные в этой деятельности. Таковы, например, мои отец и брат. У нас, к примеру, возле дома, во дворе и в зарослях в саду и в огороде — кругом «ютят-ся» железяки всякие. Да не какая-то там мелочовка из чермета мелкая — как пишут, что люди даже повсюду ездят, за десятки и сотни километров, выискивая металлолом для собственного пропитания, — а целые машины грузовые, полуразбитые, вросшие в траву и землю, тракторов штук пять, а уж «аксессуаров», запчастей и всякой всячины — как в супермаркете. Вот гляньте, например: двери стоят от ЗИЛа — четыре штуки в ряд — все одинаковые, все правые! «Может, — говорит отец, — кому понадобятся!..» Понадобились — приезжают и получают бесплатно, а главное еще и с консультацией. Мать ругается, что у них-то сады и огороды вокруг дома, а у нас... Так и у Штёпки — но у того все для себя, любимого, «в своем хозяйстве».

В промежутках между занятиями основными он — в пику своему конкуренту, наверно, — решил еще заниматься «садоводством». С чудовишной, циклопической энергией выкорчевывает дедовский — вернее, для него отцовский — сад! Так он уж и цепью обвязав дубы, трактором их дергает — на это иной раз полдня уходит, гудовень стоит и дым, как от пожарища! — и выпиливает все, распиливает невыносимой этой пилой «Дружкой»...

На другом берегу чрез речушку нашу, а теперь болото, проживает Фома — тот самый Фома-полутруп из юношеских моих повестей — так этот, вот ёшкинкотство, выпросил «по дружбе» эту «Дружку», потом, раскушав, купил себе и в редкие дни затишья напиливает теперь сам: валит все кругом, что только из земли торчит, «на дрова». Мне родители сто раз в пример поставили: «Смотри, как Штёпа свой сад обрзил! А Фома-то! Как ровное солнечное место — ни волоска! Красота!» И многие их примеру последовали — как будто поветрие слабоумия началось. (Самолично благотворительную обочину окашивает Жёваный — красота, да уж не той ручной косилкой, треклятым триммером, как вы подумали, а навесным на трактор диском: делов-то — на полчаса! Но года через три и он рехнулся: аж три треклятых этих зуммера закупил и начал нанимать «рабочих».) Всю жизнь косо косили и с радостью справлялись, даже женщины, а то теперь все пилы и косилки прикупили: ревут-рычат со всех сторон, завалили деревьями речку, запруды сделали, все сгибло и сгнило, а берега лысые. И еще удивляются, почему в Россянке нашей летом дождей не бывает, все засуха.

Можно еще упомянуть, что несколько лет назад газ проведен в село, и топят теперь дровами — из тех, конечно, кто ближе к центру живут — лишь Штёпка да Фома. Я помню, мы с дядь Геней, хоть мне и десять-двенадцать годков еще было, валили в посадках клены обычной пилой, сушили, распиливали, таскали, пилили потихоньку на козлах вручную, топором потом долго кололи — ну все равно полмесяца-месяц, а тут — всю вёсну, все лето и всю осень каждый день!..

Изобретает, конструирует, вкалывает Штёпа, тут надо отдать ему должное. В труде своем многозаботливом величественен даже, никакой покой и ночью не снится. То с боронкой промчится, расширенной так, что она уже в дорогу не вмещается, чужие ограды задевает. То с сеялкой этой новомодной с бочкой последних гусей подавит, прохожих редких или велоребятишек погостить приехавших в кусты пораскидает. Кто из города, из чужих краев, не зная еще порядков, на иномарке крутой катит — остерегись, посторонись! Тут правила не писаны — так и опрокидывались с обочины. А уж про пылищу и говорить нечего — глотай сколь хошь, ведь не асфальт кругом, и она так и висит, живописно заметная на плакате закатогуашно-черными облаками. Уже заходит, догорев в пыли и тьме, солнце, а на фоне этом сине-багровом черный силуэт маячит с горящими глазами, с черными в них безумно-колдовскими точками — яко человек черный, будто призрак. Но не пугаются местные: все знают уж, что «это Штёпа все не может уgomониться» — и в самых потемках еще, звеня цепями, шастает, «дела обделывает».

А утром часов в пять, чуть свет — уже затапливает дровами Штёпа печку. По крайней мере, еще полмая топтит... В шесть — с ревом заводит с пуссача трактор, потом второй... И летом растапливает во дворе слаженную из железной бочки печь — запаривать скотине.

Деревенское летнее утро — благодать. Туман с прохладой, тишиной и свежестью клубится — будто зевая, спешно отступая за огороды к речке; свет, снова обновленный, в зелени играет, как в хрустале, в бодрящем птичьем гомоне — и в воздухе отчетливыми, но нерезкими, непугающими выстрелами — хлопки кнута... Выгоняют коров, хоть их теперь совсем уж мало — пахнет полынью, свежими коровьими делами: навозом, потом, молоком... кое-где все слышатся ругательные, а реже одобрительные тирады хозяек — извечных ворчливых бабок, которых уж осталось на весь плант² две-три шутки: «Куды? Куды ты прешь-то?! Пошла! Пошла!..» И вместе с этим «пошла!» проходит вся процессия, все ее запахи и звуки — раньше начинали косы отбивать, сначала подкашивать в саду для лошадей, потом косить поедут...

А тут уже всю симфонию и синергию утра штёпанодействием своим перебивает, отвратных этих запахов и звуков. Рокочет и дымит трактор, ревет, будто что-то зажевывая, и тоже чадит косилка, чадит его печка нещадно — полдня воняет во всей округе несусветной дрянью — говорят, что всякий хлам он повсюду собирает и топтит им «покамест», дрова жалея.

На этом пункте экономии и начинается самое интересное. «Вот и отец его, — рассказывала, посмеиваясь, бабана, — колдуном звали, все ходил, по земле, ноги двигая, все высматривая. Найдет какую-нибудь былку — подымет. Проволовку в земле однава углядел — полдня ташил, выковыривал, людей потешая. Да тогда-то оно и правда и дров не было, сады да деревья еще только посадили, а проволоку и тем более — где ее возьмешь?..» Фамильное предание не столь уж древнее: я сам этого деда Карпыча видел — горбатого, странноватого, немного побаивался. Но тут... В общем, такая же «незаметная» страсть плюшкинского собирательства перешла и к Штёпке, да в наши богато-разнообразные — на самом-то если деле! — времена, как выражаются далекие от деревни психологи, *развилась всесторонне*.

² Плант — улица; ряд домов, составляющих одну сторону улицы (диал.).

Жена с детьми уехала в город — чем не психология, невиданное дело. О разводах, конечно, в деревне сто раз все слышали — от городских, из этих непрерывных сериалов, — но развестись никто не разводился отродясь — «без мужука как проживешь-то ведь?» И как ни странно, они правы. Бирюком жить мужику — примеры есть — тут постепенно плюнешь на все хозяйство, закладывая за воротник начнешь, никак иначе. Разводов нет, а психология тут обычная: работает человек, суется-кружится, да с потом в три ручья, с затеями — то план колхозный выполнять, то себе кусок урвать, не прозевать посеять надо и вовремя убрать, привезти, пригнать, заборонить, сварить, расточить, склепать... В общем, не до жены и не до оболтусов точно.

На то дотошные есть жены — они свое урывками урвут, как специальным крюком зимой скотине сено дергают, как клещами вырывают. Веселые сначала, потом стервозные; ну а детишкам чуть не с пеленок «помогать уж надо» — не им помогать, «как будто у них проблемы какие-то?!», а взрослым по хозяйству. (И то во многом правильно.) А попадают, хоть и редко, и «мужику» дотошные — жуки такие. Так вот, говорят без обиняков у нас, наш однофамилец-бригадир супружницу свою замордовал. Жене, бывалыча, обсказывала бабушка, буквально проходу нету: что она ни сделай, за что ни возмись — все «Ходишь тут, ходишь...» — с громогласным его, но слюнявым «ш», и иного слова у него для нее нет. Каждую былинку иль соринку под ногами выследит — не тронь, не передвинь, не наступи, не засты! — и на свой счет ее берет.

А уж как фермером заделался — хоть сорокет уже в обед — удвоил и утроил свои усилия. Полтинник, шестьдесят уж скоро лет — еще удвоил! Работает бобыль, как вол, как вал, как Ваал — сам себе хозяин, магнат!

В городе, ежели опять начать нам сравнивать, человек без особенных достижений отлично привыкает к своей пассивной, приниженной роли: я, мол, человек маленький, от меня ничего не зависит. Но даже такой обычный наемный работник, чаще всего, зоб выпятив в индюшачьем подражании хозяевам жизни «истинным», чувствует себя в повседневной пустой круговерти вершителем неких дел!.. Хотя, по сути, *руками своими* он уже сделать ничего не может — так, простаивать у конвейера, просиживать в стойбище офиса, простаивать в пробках, простаивать на кассе супермаркета, пролеживать на диване... А деревенский наш мужик, ежели он не в батраках совсем и бедности, то мнит себя, вполне естественно, титаном и креатором — и воплощает сие наибуквальнейше! И в этом нет ему особых преткновений. Как только разве все справки фермеру собрать, печати-подписи, на собственность, паи, аренду, оформить все — подумаешь там, года два-три всего... Ну, там, еще налоги да убогим куля два в год крупы подмоченной.

Те немногие, кто забредал в его скоромный домик, свидетельствовали... В общем, дома у него бывали лишь каким-то чудом раз в десяток лет: мрачное его жилище (две «избы» — «старая» и «новая», два дома, слепленных вместе), скрытое от глаз непроходимой заростью деревьев и кустов, в тени все вечной, сорняках и плесени, мало кого привлекало. В одной части жили родственники, дед еще Поликарп, другой пристроили его родители — и все это было какое-то почти стивен-кинговское, насколько это возможно в русской деревне да, почитай, на главной улице.

Теперь же он давно занимает все единолично. Без семьи и домашних питомцев. В последние два года — и без единого кругом куста иль деревца — «шоб не мешали!»

Так вот, свидетельствовали, понижая голос, что раньше, еще «в мохнатые» девьяностые, там все у него было завалено — какходишь, вся первая нежилая изба — товарами всяческого изобилия: дорогущей и дефицитной тогда бытовой техники, «оргтехники» даже, как тогда называли. Чего там, рассказывали-пересказывали за стаканом, только не было: три холодильника нераспакованных в полусодранных клеенчатых и картонных, даже обитых рейками упаковках (целое состояние!); четыре стиральных

машины — две еще советского образца, в виде заржавевших бачков сверху с роликами для отжимания, два новых, сияющих пылью и плесенью иллюминатора; диванов несколько и кресел — фигуристо-цветастых, в масть и сласть, торчащих из едва нарушенной упаковки, и пара «так себе», столь же нещадно, «прямо по бумаге и всем тряпкам», объединенных крысами и мышами (мифическая «мягкая мебель», за коей полжизни стояли в очереди!); на них, диванах сих и креслах, коробки с поражающей воображение — особенно сельское — маркировкой: три телевизора глобальнейших размеров — все цветные, два видеомэгнитофона отечественных — еще какие-то ВМ-12! — и парочка VRC истинно японских, кассеты к ним упаковками, шнуры, приставки и антенны спутниковые; какие-то лампы, люстры, электронные часы и миксеры, соковыжималки и мясорубки всех мастей, принтер даже, всевозможные запчасти от «Жигулей» и иномарок... В общем, все, чего душа изволит и что только вместить может весь аппетит трудовой купецко-кулацкой фантазии!

Несомненно, что те, кто там побывал, под страхом самой смертной казни не преминули бы как-нибудь ограбить одиночку Штёпу. Да только хрустальные сервизы — самый тот советский шик! — да ковры в рулонах — одни теперь будто из застывшего, окаменевшего свинца, засиженные годами липкой гадости, другие, ценнейшие и раритетнейшие когда-то «Ереван» и «Карабах» — как будто подернутые свежей дымкой только что проросших сквозь скрученные узоры зеленёй. А поверху еще над всем, на крюках, на коих подвешивают обычно потрошенных курей и уток, развешаны, как у маньяка, шмотки женские — гирлянды цельные панталонов-шароваров, платки-чулки узлами да гроздьями затянутые паутиной косточки от лифчиков... И тут же вот вам — цельные кули ценнейшей бакалеи — на слове Союза являемой по талонам! — окаменевший, как старый цемент, колхозный сахар, настоящей, вьющейся ботвой проросший чрез мешок горох, давно отплодоносивший для мышей и крыс, заржавевшие от истечений дырявой крыши манка, рис да рожки... Позвякивает также нечто в стеклотарных ящиках — в черноте углов, в невыносимой затхлости и сырости, в непроходимой паутине — из этого-то угла и достается бутылка *кой-чего*, с уже протертой, словно источенной рашпилем или молью, этикеткой — дать магарыч за помощь вынужденно сюда допущенному пришлецу, свидетелю Кощеева царства.

Богатства эти по тем временам — неисчислимы. На фоне, так сказать, необычайной простоты быта большинства селян, о коей нет даже художественных средств горожанам рассказывать, разве что самыми супрематичными картинами Малевича. Но это у Штёпы только еще главная коллекция! А сверху все это завалено, уже буквально как у Плюшкина, всякой рухлядью: канистрами да склянками, драньем да дрянью, щепками да палками — тем, что нормальному человеку, даже бедному, срамно и во дворе для подпорки стен собирать.

Работать человек стал все больше, а покупать все меньше — что и всем знакомо. Или не меньше: теперь уж там у него в трущобах никто не бывает, чем и как он живет в самом дальнем своем логовище, чем питается, нет вестей. Говорят, что жрет он так, как будто «зажрать все вокруг хочет». Да и приобретать он *осяземо* стал сельхозтехнику: и новую, и старую, и весь вообще окрестный хлам — да строить «пирамиды».

3. Битва

Возведение громадин «пирамид», забыли мы сказать, сопровождалось всяческим соперничеством, и не без комизма.

Приглашены были из-за тридцать земель — из какого-то городишки под Воронежем — девять витязей прекрасных, все равны как на подбор и знатоки, конечно, немислимых высокотехнологичных технологий. А как только они укоренились на хар-

чах бедного магната-фазендейро Жёваного Кротика — в выкупленной пустой избе, да с полным пансионом, включающим попойки «с устатку», а после и многочисленные опохмелки, — оказалось, что это никак не стройбригада стройная, не ватага даже удалая, а сброд какой-то спившихся, косоруких, нагло разленившихся, заглядывающих-ся даже на редких деревенских молодух молдаван...

Они свою жилку нашли: ангар возвести надо, *уже начали*, а сами фермера ничего сделать не могут. Вот и кривлялись мастера и, что называется, отрывались, как хотели — сам Крот с утра и до ночи караулит, все достает и подает им со своими мужиками, то по деревне бегает — собирает распутившихся, растекшихся, как муравьи, халявщиков-алконавтов. За месяц он изжевался весь, как спущенная камера, высох весь до жил, отошал, как былка. По плану — две недели, «под ключ», а на деле — два с половиной месяца... Потрясает он контрактом с печатью, ругается, злится — толку ноль. Одних «боеприпасов» — самогону да *официально* приобретенного в Тамбове и в ларьке пошла ушло четыре алюминиевых фляги и двенадцать ящиков! Стройматериалы умудрялись пропивать с необычайной наглостью, прямо из-под носа. И приходилось ему по деревне бегать — перекупать обратно, отбирать, нещадно отдиравать прилаженное уже на крышу или к забору блестящее свежим металлом гофрополотно.

Короче говоря, и кормили их, и поили, и харчевали, и линчевали, и давали леща, и улещивали — с ребятами недвусмысленно приступали и с ментами — все им как с гуся вода. В итоге последнее уже сам фараон Жёванокрот докрывал, переняв мастерство, а олухов сиих вся задача была хоть как-то выловить, отковырнуть отсюда без следа (некоторые чуть ли не женились!) и депортировать навсегда.

Что и говорить, очень потешался, на это глядя, наш Штёпа, Штепанхотеп II. Но через год пришел и его черед. Он родственнику, родоначальнику пирамидостроения Белохлебову I телеграфировал, чтоб подыскал бригаду по опыту и знакомству или чтоб евоная дочка приискала в Интернете энтот, в трех экземплярах распечатала и привезла в деревню за тройное вознаграждение — два магнитофона допотопных, а то еще и принтер, «совсем уж новый».

Но как ни крутились, ни вертелись, но по дешевизне пригласить пришлось все ту же бригаду из-под Воронежа, пусть переназванную нынче «Бригантиной С». Уж Штёпа начал круто, заранее предупреждал: в мясорубку, мол, скручу, самих на фарш перекручу, «в вот этой во дробилке для дробленки, а в печке вот запарю» и тому подобное. Через месяц умолял уж слезно, сулил все земные блага — запчастей штук тридцать наилучших, два дивана почти новых, два холодильника пропили!..

Орал и неистовствовал наш магнат Штёпа так, что горы сотрясались (которых, слава богу, нет), что все деревья, вековые ивы по берегам речушки, а теперь в болоте посохли и попадали, что все окрестные там лягушки заткнулись посередине мая, если не подохли. Долбил и громыхал железом, резал — как будто забивали сваи до центра Земли, а после добывали их обратно, как будто Армагеддон озвучивали.

Орал, и выл, и костерил, и бил нещадно, и сам покупал все раза три — за цельных полгода адских мук, как раз до января.

Заочно Штёпа по ангарам выиграл. А дальше — тут уж как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Да как? Простецки, из пустяков.

Была у них точка соприкосновения одна — межа общая. Даже не межа уже — дорога в поле, чтоб было как заехать. И по три раза в год каждый стремился накатать ее так, чтоб по земле конкурента дорога пришлась, а не по его. Подумаешь там, колея — два метра, три аршина, а распредели ее площадь во всю длину надела — «так воно оно выходит скоко»!

Не раз по грязи они накатывали по новой своевольно, не раз устраивали словесные среди поля сходки, верней, в его начале: гудят машины-трактора, оставленные на

обочине, еще работники Кротовы глазюют-слушают, тоже дело бросив, да и до окончностей села рев машин и глоток долетает. В деревне это называется *брехать*, нечто вроде рэп-баттлов нынешних — кто кого перебрешет, переорет и перекроет матом.

Штёпа тут был великий мастер — басил громогласно, в конце с каким-то истерично-бабским подвывом, верно дававшим победу. Но однажды Жёванный Крот схитрил: приволок в поле пару штук железяк здоровенных да длиннющие шесты с остротреугольными пластинками от жатки накидал по краям — все устроил так, что Штёпе пришлось заезжать по его уставу. Штёпа, рассвирепев, сдвинул «зубья» на Кротов надел, прицепил тросом железяки и, чертя борозду, отволол их в буерак.

В той местности лощинка рядом с полем, а дальше и сама река, здесь более-менее нормальная. Раньше мы туда ходили, за край села, на льдинах по весне кататься. Да после, что называется, откатались — ледохода уже с тех пор и в помине нет. И вот недавно, несколько лет назад — затрещало все, появились льдины. Грязища выше голенница, блистающее тающее солнце, пасмурная мга — все как надо. И нынче те, кто сами подростками катались (я помню, там младше меня были все), сказали своим детишкам, тоже уже лет двенадцати-четырнадцати: идите покатайтесь. Тут нет особой техники безопасности, мол, палки себе только побольше срежьте да их из рук не выпускайте.

И там эти ребята, привлеченные криками и шумом, свидетелями стали былинной супербаталии. Покуда добежали, застали уж в разгаре. Вот они-то потом и рассказывали. Да не просто рассказывали, а как у нас в деревне заведено у взрослых, а подростки в своей компании и почти всегда так делают: показывали, представляли в лицах, так что все как будто сам видишь, в подробностях и динамике.

В общем, в начале поля на дороге, в грязище сошлись они, как рыцари! Да не пешком — на Росинантах! Штёпа орет: «Убью!» — и из окна комбайна, выпучив глаза, выглядывает. Прет прям на вы на всех парах, грозя кулачищем. Жёванный Крот на него летит — на тракторе своем, под джип тюнингованном, дверь растворил наотмашь и двустолку кажет.

Стреляет! И прямо в кабинку Штёпки! В реве грохает, пульки отскакивают. Штёпа, дав по тормозам, умудряется схватить какую-то железяку из-под ног (обычно в кабине валяются запчасти) и запустить сверху вниз в кабину сэру Жёваному.

Окно пронзают брызги трещин, Жёванный чрезмерно дает газу, так, что тракторок едва не становится на дыбы!..

Минуют друг друга, разъезжаются, кружась в грязище, кидаясь грязью, трясясь от ярости, грозясь-ругаясь, разворачиваются.

Не комбайн, конечно, у Штёпы, а жатка для уборки подсолнечника — по виду тот же комбайн, поменьше только, и грозные с рядами острых зубьев эти «вилы» впереди. Во владениях тут Штёпиных шляпки да стебелюги еще кругом торчат — вот их-то и хотел скосить, по грязище не успел убрать подсолнухи осенью. По морозцу, говорят, хорошо убирать — да нет теперь морозцев осенью, а дальше и всю зиму грязь почти без снега, весной само собой, а тут еще и сеять, а летом опять засуха. Шляпки, слепой не видит, корюзлая все мелочь, никудышные, да сколько гербицидов на них стравлено! Такие *семечки* проще и дешевле запахать на удобрение, но не таков наш Штёпа! Возил он их специально на анализ, и показали там, как и понятно, что «влажность семени больше двадцати пяти процентов, недопустимо для обмолота». Но сунул он копейку кому надо, крупы и оргтехники еще пообещал и заручился, что и такие примут...

Разогнавшись, съезжаются опять — что есть дури. Штёпе разворачиваться дольше, и хитрюга Крот, пользуясь моментом, разжечь уже успел в бутылке фитиль из тряпки — поджег солярку, и как только сблизилсь, метнул через болтающуюся дверь коктейлем Молотова — в жатку. До кабинки — блистающей стеклом новехоньким соблазнительно! — не докинул, но на колесе уж ярко вспыхнуло — как вражеский танк подбитый.

«Шас, может, вся покрышка займется!» — возликовал в душе или вслух Жёваный, а сам едва успел пригнуться. Бесстрашный рыцарь Штёпка с дурачьей силой ярости запустил в него сверху шкивом — тяжелая, острищая железячина, как болванка снаряда, прошибла кабинку Крота насквозь. «Фухх!» — выдохнул он, перезаряжая. Нога его на педали только на полсантиметра каких-то успела дрогнуть, а то бы пробило и ее. И выпалил еще пару раз своей нулевкой дробью в кабину Штёпе — прошил стекло.

И в третий раз сблизилась, схлестнулись, рыча всей мощью машинной и утробной. Крот выдавил уже остатки стекла, блестящие крошки на защитной пленке — болтаются, мешают. Патроны вроде кончились, и полетели на мышечной тяге друг в друга от них железки — родные! — всяческие: острые, как у ниндзя, диски, удобные для метания дискоболом шкивы, пустякие, но пугающе свистящие патрубки, мелкие, но эффективные штуцеры. Грохот был такой, как будто металлолом загружают — или даже сгружают. Мелькали яркие перчатки Жёваного, а Штёпа что-то про них орал.

У Крота ручки ссохшиеся, больные, сплошные жилы, и размером, почитай, теперь как у куклы. И он уже невольно начал перчатками и рукавицами «щеголять» — типа аристократ! Как делать чего — так вынет их из кармана, из бардачка машины и наденет. У деревенского мужика руки-то все в ссадинах, порезах, черный ноготь постоянно слезает от ушиба (и на ногах-то — то же самое!), в соляре они и масле, в земле постоянно, иногда и в навозе даже, как полагается, — в общем, ручищи, никакого «педикюра» и не нюхавшие, и слова такого не знающие. И слесарь сам себе, и столяр, и столяр. Но это мелочи. В городе лампочку вкрутить, в унитаза или кране подвинтить — вызывают мастера. А у кого первомайский сезон на даче — герои труда! В деревне же матерым «мужукам», как уж говорилось, не до картошки там какой-то да петрушки бабской — сеять надо!.. Они вкалывают, как поет Растеряев, на комбайнах! И рукавицы тут с перчатками никак не в чести — лишние секунды простоя и возни — в стремительном потоке всемирной деятельности! (На пикнике за стаканом слышал я странные мужицкие диалоги. «Хоть йицо-то *самому* почистить, — говорит один, беря яйцо, — уже не помню, когда и чистил!» — «Гля, и я лет десять, наверно, сам не чистил!» — и второй берет, о доску стучая, а у него супружница тут же вырывает, порываясь очистить!) Тут сваркой-то варят, болгаркой орудуют — вот Штёпа, например, не надевая рукавиц, ни краг, ни защитной маски: летит окалина, прожигая все вокруг, да «зайчиков» понахвататься так, что две недели будешь выть. Сам Штепан Самсонович не рядится в новомодные шмотки: фуфайка на нем замусоленная, столетние кирзовые сапоги да старый шлемофон без застежек, весь осыпавшийся. А Валерий Палыч — экой щеголь, щегол в натуре! — в перчатках, да еще ярко-зеленых! Короче говоря, какой-никакой, а *образ врага*.

Милиции-полиции в деревне нет, делай что хошь. Бежать домой в район звонить — такого и в голову никому не придет, тем паче пацанью. Да и так залегли все прямо на землю, благо днем ее чуть пригрело да холмики там были с краю, жадно выглядывают. Что-то дымится — то ли колесо уже и впрямь горит (хотя Штёпа вроде сразу закатал его по грязище), то ли дымовень из труб.

В четвертый и финальный раз, распалившись сами и двигатели разогнав намного дальше всяких КПД, решили пойти в лобовую. Сэр Жёваный, пусть и на подваренном рамкой джипе, против поднятой на него тяжеленно-железячной, с острейшими зубьями стеблеподъемников жатки, понятно, не гусь совсем, решил последним патроном при столкновении выпалить супостату, сэру Штепану-Самсону Львиная Морда, «пряма в рожу наглючую, черную».

Жатка, хоть и зубаста, не поднимается так, как на комбайне — и, в общем, с грохотом заскочил на нее, как мячик резиновый, Кротов трактор, впечатавшись, немного боком, в корпус «танка» Штёпы. Чуть не перевернулся! Сэр Штёпа долбанул башкой

в стекло и, смяв его, как будто растянув, как клоун в пантомиме или киборг в фильме «Терминатор-2», едва не выскочил в кабину сэра Жёваного. Крот, обвязанный предварительно веревкой-тросом вместо ремня безопасности, сильно долбанулся-дернулся и тоже чуть через руль не выскочил. Саданулся ребрами и, заревев от боли, все же выпалил из привязанного тоже, будто пулемет, ружья. Что-то взорвалось, рвануло, очнувшийся Штёпа, без шапки, с окровавленной физией, с задетой, кажется, ляжкой, кое-как выпрыгнул из горящей своей боевой единицы и пополз, слепой от крови и гари-грязи, подволакивая ногу, по земле в свои серые, сухие подсолнухи. Крот, тоже весь слепой и чернорылый, газовал, пытаясь дать заднюю, чтоб освободиться из пожарища, потом просто пытался высвободиться из тросов, чтоб тоже выпрыгнуть из кабины. К счастью, успел.

— Полóз по полю — как суккулент! — взхлеб повествовал Колюха, один из очевидцев. — В шлемофоне нашенском, а морда как у фрица!

— А Крот — как турбулент! Изжеванный весь, как Танькина жувачка, — и второй ему вторил Тёма.

— Да ты ведь, Тёмыч, там и не был, потом уже на взрыв прибег. А заливаешь — я еле успеваю слово вставить!

— Да мне все братан рассказывал!

— Братан! Я эти выстрелы и взрывы своими глазами видел!

— Глазищами!

* * *

«Золотая осень» — в школе был такой праздник, и само это словосочетание понятно, что обозначало. «Лиловый, золотой, багряный...» — всякие были краски, но теперь только понимаешь, что золотой тогдашний — желтоватый лист тополей — и впрямь как золото настоящее, но бледное все же, наше повседневное. А то, чего, казалось бы, не видел никогда раньше, — так это как слитки или самородки сияющего золота листвы берез! «Казалось бы» или взаправду — подумаешь и сам не знаешь, что, может быть, действительно многого в детстве не замечал: фазы Луны, полнолуние, мигание звезд-планет или что и у нас, как на юге, бывает, несутся на небе облака. Луна стоит, сияя, они мигают, а облака — несутся!.. А может, тогда просто не довели вербальные знания, все воспринималось-являлось как есть, без всех этих подробностей-дробностей, атрибутивов и предикатов — названий созвездий, «убывает», «сияет», «несутся»... Как будто ту же книгу через двадцать-тридцать лет перечитываешь!..

А вообще, тогда ведь березовых посадок не было. Я помню, как их посадили, как мы «отсаживали» оттуда березки себе домой и для школы. И годы и годы они росли, пигмент копили буйной силы, пока наконец не заполыхали почти что оранжевым нестерпимым пламенем.

Что делать, мой конь и в сорок лет — велосипед, мой инструмент, не считая ручки и компьютера, — фотоаппарат.

В деревне все это не поощряется: здесь, как и в городище, теперь все столь же стремительно стремятся за руль авто засесть — лучше внедорожника, а с ползунков буквально — по крайней мере, раньше так было — за баранку трактора, за штурвал комбайна.

Как-то попросил я отца отрегулировать перетянутые тормозные тросики на велике. И тут внезапно появляется в проеме железного забора огромная и почерневшая фигура сгорбленного великана. Шамшоныч Штёпа! Спросил он у отца какую-то железяку и, сверкнув на меня черно-белыми своими, острыми глазищами, отпустил бесплатное поучение: «Каждый ведь сам должен свой транспорт ремонтировать!» Ведь жив ку-

рилка — и лапидарно прав! Как все же странен он, громадно-безобразен! Хотел я даже что-нибудь ответить в оправдание: что у меня и инструментов тут нет, да и зачем мне лезть самому, когда кругом такие люди, которые всю жизнь техникой занимаются. Но он не готовился и слушать — хмыкнул и исчез.

Сельский человек поглощен своим занятием: он первочеловек — охотник и собиратель, Архимед античности и средневековый рыцарь, владетель, кудесник и алхимик, он человек Просвещения и создатель атомного реактора, он сам себе Пушкин, режиссер и первопроходец прерий: как зачнет рубить лес со всего замаха — щепки фейерверком.

Но пришли иные времена. Грибы, редкие ягоды, рыбалка, а тем более травы — кому они нужны? Как будто никому: подпахана до упора каждая лоштинка, каждый речной бережок, и все кругом с самолетов опылается гербицидами. Летом только хочешь выехать, пригостишь-выведешь велик, а по дороге — пыль столбом: то Штёпа прогрохотал, то Жёваный на джипе пролетел. Пока она развеется хоть как-то, дымом и туманом, уляжется привычным нанослоем местного «графена» — минут пятнадцать ждать. Но все же как-то можно было продохнуть. Теперь же — земля трясется, как от землетрясения, армада целая по дороге катит: друг за другом комбайны гигантские, тракторищи громадные заграничные, фуры с прицепами величиной почти с товарный вагон. Ползет в дымище, как в своем чулане, Штёпка, едет, петляя, Кротик со своим кондиционером — навстречу цельная армада и грядет нахрапом так, как будто и не видит никакого джипа, никакого Штёпы! А что ей мужичок какой на старом тракторке или вот сельский обалдуй на велике. Грунтовка как бы просто растворяется в воздухе; асфальт наш, особенно мимо клуба в центре, выбит уже до немыслимых колдобин — здесь грохот и гул земли почти что непрерывный, а в саду и огороде все покрыто серой пылью, как после ядерного взрыва.

По массе, мощности металлу — по сути, те же танки, только по размерам гораздо больше. Чтоб было понятно: длина современного комбайна — больше 8 метров, вес — под 15 тонн, ширина жатки — 12 метров, объем бункера у свекловичного — под 40 тонн, радиус разворота — 9 метров. Фура: длина с полуприцепом — 14 метров, вес без груза — 14 тонн, грузоподъемность — под 20 тонн, да еще прицепище здоровенный, а есть и с двумя поменьше. Вот такая спецтехника утюжит сегодня русскую деревню.

Это новые теперь хозяева полей по всей округе — какая-то чуть не транснациональная фирма (как есть такая марка овощной продукции — «Global Village»), с названием для местных типа «Бригантины», а по документам «хрен проссышь». Колхозные руины восстанавливают — вроде хорошо. Земли не пустуют, убирают все, как пылесосом, вывозят до зимы прицепами-вагонами. Но действуют-орудуют, как конкистадоры какие в стране индейцев: не свои родные, а пришлые, приезжий незнакомый персонал — никто их не знает, ни с кем они не разговаривают, не судачат, ни за чем не обращаются. Налетают, как саранча, и вершат свое дело, оставляя все лысым и пустым.

Отсудили все земли по аренде колхозных паев — у Штёпки в основном, да и у Кротика. Все было оформлено давно и правильно, с большими стараниями и издержками, но наняли там, видно, таких юристов мощных, что в «райсобесе» лишь ручками разве-ли. Уж Штёпка, наш псевдооднофамилец, всё земли собирал себе по нитке, как князь Василий III — даже все обочины, которые всегда в пылище, самовольно по жадности засеивал и скашивал, а тут...

Но и Жёваному тоже досталось. Дорожка, которая была причиной раздоров, новым хозяевам даже не понадобилась: они возьми и накатай дорогу для техники и машин прямо наискосок по полю — по полю В. П. Лямкина! Он караулил несколько раз, останавливал (с трудом большим, заступая прям на дорогу!) технику, обращался к водителям и комбайнерам с речью. Но те смотрели, как роботы или манекены, как буд-

то русских слов не понимают. Брехать тогда пытался, требовать начальства, но лишь презрительной улыбки все это было удостоено и полурусского «О`кей», типа передадим. А дело ведь не шутка: не то что межу сместить, а прямо колеишу, что твой асфальт, по диагонали по чужому полю раскатали! Обидно, слышай! Да еще обиднее, что за «колхозом», где раньше «фирмы» стояли, разбила агрофирма новая сад яблоневый гектаров на двадцать! Яблоньки рядками, как кресты на фашистском кладбище, все в колючей проволоке, чуть ли не под напряжением, а Кроту эту землю в свое время не отдали. Да и вообще, на каждом углу, на каждой тропке прут на тебя, как захватчики какие!

Приволок тогда Крот боронку зубовую о трех секциях и положил прямо на дорогу. Авось не увидят и шины пропорют. Через день приезжает: боронка сдвинута, а колея виляет, но по грязи им, видно, трудно... Приволок еще одну — теперь уж не проедут! Но сам он уже видел, какие у них колеса, какие шины! Перевернули они боронки и закатали их в землю так, что не вытащишь. Пытался он и Штёпу подключить, а тот все: «По моим полям пока не ездют». «Штёпке-то ему что, — думал Жёваный, — вон у меня-то детишек куча-мала!»

«Пока» — но вот и все его обочины превратили в колеи. Не вытерпев, и Штёпа начал брехать на них пытаться, запил слегка и басил по деревне: «В бараний рог согну!», а после даже в район отправился жаловаться, а может, и «кому надо сунуть». Здесь встретил он и конкурента своего заклятого с рассказом, что «уж сколько по всем инстанциям жаловался» — ноль реакции. Это в Россянке они два мифических колосса, в ближайших деревушках некоторых, райцентре еще кого-то по работе знают, а чуть отъехать километров на двадцать — в соседских уже краях, а тем более в Тамбове, в начальстве всяком — ноль без палочки. Звонил и Белохлебову наш Штёпка и даже к нему и к дочке ездил в город. Пытались и к юристам, к районному начальству подластиться. Но те им недвусмысленно намекнули, что, мол, прижукли бы вы и не вякали, тут, видишь ли, новые корни глобальной корпорации уходят совсем *туда* — то ли к каким-то самым высшим сферам, то ли, что скорее, за границу.

А Штёпа с Жёваным как раз помирились. Примерно как кот Матроскин с Шариком. Из всей Россянки они, поскольку везде ездили, первые ковидом заболели, на второй год практически одновременно. Да заболели прям нехило, тянули до последнего, обращаться не хотели. В итоге их повезли едва живых не на джипах их парадных, а поволок в район на выдавшем виды уазике-таблетке их приятель Фома (он водителем работает). Растрясло их в пути, хоть прощайся с жизнью — вилюшки да колдобины... Лежат, трясутся, чуть от боли не воя, и сами все понимают: что и сами они вывозят машинами, и агрофирма энта своими «вагонами», а ремонтировать дорогу — «пусть временщики и ремонтируют, хищники!» — а тем, понятно, с такой-то техникой, не надо. И так уж тяжело, весь скрипит и едва не глохнет сей уазик, и дело уже к вечеру, да еще в лоштинке, по грязи и слякоти, совсем засели. Пришлось двум колоссам-фермерам, хоть и по пачке у каждого за пазухой денег, и так они уже еле дышат, самим толкать машину, из колеи вытаскивать.

Плечом к плечу — как братья. И главное, они доподлинно и вдруг тут осознали, что враг у них теперь общий, что вообще как-то прижала жизнь, как двух улиток — в хрупких, хрупче, чем скорлупа яичная, их домиках... Что надо вылезти из колеи, залезть еще на место, доехать как-то до больницы, выжить.

Ветрище, холод, озноб и рваное в груди, дышать нечем, а кругом все равно уже погода наша: бегут по остаткам асфальта ручьи — как раньше, камешки в воде разноцветными становятся — как в детстве... чернеет за обочиной пашня призывно, зеленыя вдали торчат весело, веточки берез неуловимо розовеют-коричневеют, проглядывает где-то далеко за тучами бледное солнце, и воздух... воздух, наверно, весной пахнет.